



КАТРИН
ШАНЕЛЬ

Величие и печаль
мадемуазель
Коко

Все о моей
великой матери

Катрин Шанель

Величие и печаль мадемуазель Коко

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6605202
Катрин Шанель. Величие и печаль мадемуазель Коко: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-69583-6

Аннотация

Нелегко быть дочерью Великой Шанель, тем более когда тебя не считают дочерью, а выдают за племянницу. Но Катрин Бонер давно привыкла к причудам матери и почти смирилась... Шанель, мадемуазель Шанель, должна быть свободна от семьи. От детей, от мужей. Она художник, она творец. Катрин же просто женщина. Она ни на что не может претендовать. Ей положено вести самую простую жизнь: помогать больным – ведь она врач; поддерживать Коко – ведь она ее единственный родной человек. Как бы ни были они далеки друг от друга, Коко и Катрин все же самые близкие люди...

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	9
Глава 3	15
Глава 4	20
Глава 5	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Шанель Катрин

Величие и печаль мадемуазель Коко

Глава 1

Сестра Мари-Анж, когда я увидела ее снова спустя несколько лет, показалась мне очень молодой. Казалось, она даже помолодела с тех пор, как я видела ее в последний раз. Я поняла, в чем тут дело – ребенку все взрослые кажутся очень взрослыми, для девушки-подростка все женщины постарше ее самой – старухи, и только сейчас я смогла уловить, что сестра Мари-Анж совсем еще молодая женщина с серыми глазами, по-детски мягкими чертами лица и вполне соответствующей духу современности едва-едва развившейся фигуркой.

В моем восприятии изменилось все, но то, как сестра воспринимала меня, осталось неизменным.

– Малютка Катрин! – сказала она, протянув ко мне руки благословляющим, укрывающим жестом, точно на мне был не модный дорожный тайлер, а приютское платье с передником, точно мои волосы и не были коротко острижены и продушены новомодными духами и табаком, а заплетены были в толстую косу, из которой всегда выбивался один непослушный локон, и сестра Мари-Анж заправляла мне его за ухо. – Малютка Катрин вернулась!

Мы обнялись, потом отстранились друг от друга, жадно друг на друга глядя, пытаюсь уловить произошедшие в нас изменения. Потом сестра обхватила меня за плечи и повела к воротам:

– Ты так изменилась, однако я сразу узнала тебя, – сказала мне моя воспитательница.

Да, я изменилась, но и обитель тоже изменилась – каким умалившимся мне показался двор! Я въехала сюда в блестящем автомобиле, а когда-то гуляла здесь с подружками, такими же сиротами, чьи руки и летом и зимой покрыты были цыпками, носы шмыгали, чулки сползали. Двор назывался садиком из-за нескольких кустов жасмина, которые, впрочем, с тех пор дивно разрослись, а настоящий монастырский сад, «старый», огорожен каменной стеной, выложенной из глыб песчаника. Стена и тогда была увита шершавым плющом, и теперь тоже. Но она вроде бы стала пониже, а раньше казалась мне неприступной. Впрочем, я все же перелезала через нее – по крайней мере, один раз точно пыталась штурмовать, и это плохо для меня закончилось.

– Хочешь взглянуть на дортуар?

Я и в детстве была уверена, что сестра Мари-Анж умеет читать мысли, и теперь только убедилась в этом совершенно. Мы прошли через двор, через длинный коридор, на каменном полу которого лежали горячие пятна света, льющегося из высоких стрельчатых окон, и это вдруг напомнило мне какой-то давний, забытый сон. В дортуаре кровати, как мне показалось, еще больше сдвинулись, точно испугались моего прихода и прижались друг к дружке, дрожа. Пятнадцать совершенно одинаковых кроваток, и все же по каждой из них можно кое-что сказать о характере пансионерки. Вот на этой кровати, что у окна, спит старшая или очень уважаемая товарками девочка, потому что место такое, завидное. А здесь подушка поставлена углом и из-под нее виднеется целлулоидный гребешок и розовая ленточка – тут гнездится кокетка. А тут неряха – одеяло все в складках, а наволочка в пятнах и явно испачкана домашним печеньем – несносная девчонка ест в постели.

– Можно? – спросила я у сестры, указывая глазами на свою кровать, пятую во втором ряду.

Она с улыбкой кивнула.

Я осторожно присела на серое марсельское одеяло, на котором не было ни одной складочки.

– Кем бы ни была девочка, спящая тут сейчас, кровать она заправляет лучше меня.

– Ты всегда прекрасно заправляла кровать, – возразила Мари-Анж. – Ты и Рене. На ваши постели приятно было посмотреть.

– Это потому, что я заправляла и свою, и ее постель, – объяснила я.

– А, – улыбнулась сестра. – Что ж, боюсь, от Мишель, которая спит на твоём месте, соседки такой милости не дождутся. Она очень строга к недостаткам окружающих – как и к своим. Но ты ведь приехала не затем, чтобы поговорить о наших новых пансионерах, так ведь?

– Может быть, и затем, – улыбнулась я.

Но сестра Мари-Анж не ответила на мою улыбку на этот раз. Глаза ее стали печальны. Она сказала:

– Что-то гложет тебя изнутри, дитя мое. И ты такая худенькая, такая бледная.

– Я никогда не была жизнерадостной толстушкой, – усмехнулась я, но сестра покачала головой.

– Думаю, нам нужно поговорить. Сейчас некогда – девочки вернутся из школы, прозвонят к обеду, потом у меня будут еще дела. А тебе не мешало бы отдохнуть и вымыться. Дорога ведь была очень утомительной? У тебя пыль на лице. После обеда ты можешь привести себя в порядок в моей комнате и там же немного поспать. А вечером, когда воспитанницы утомонятся, мы сможем поговорить.

У меня сжалось горло, и я сказала:

– Спасибо.

– За что? – удивилась викентианка. – Ты вернулась домой. Ты можешь делать все, что тебе угодно.

Если бы я не была так изнурена, я бы заплакала от умиления.

А потом я услышала голоса девочек, вернувшихся из школы, веселые детские голоса, в числе которых могли зазвучать и наши с Рене. Из кухни вкусно пахло, в столовой гремели посудой, и я, наскоро вымыв руки и ополоснув лицо, пошла туда.

– Не могли бы вы дать мне передник? – попросила я у незнакомой мне девушки, которая ловко нарезала хлеб за дубовой стойкой. Раньше здесь заправляла краснощекая, веселая госпожа Матье. Она прикрикивала на нас, когда мы помогали ей в столовой, но жалела меня и украдкой совала в карман фартучка поджаристые горбушки. У этой девушки, пожалуй, горбушки не допросишься – вон как сурово сдвинуты ее тонкие брови...

Девушка удивилась, но достала из шкафчика и протянула мне синий бумажный передник.

– Я могу нарезать хлеб, разложить кушанье по тарелкам, – сказала я.

– Но вы же не знаете как, – сказала девушка, и поговору я поняла, что она из этих мест. Значит, я могла быть с ней знакома, пожалуй, она постарше меня.

– Прекрасно знаю, – возразила я. – Я съела столько обедов в этой столовой и помогала тут столько раз, что знаю в точности все порции.

– Вы были здесь пансионеркой! – воскликнула девушка. – Тогда вы сможете разложить рагу по тарелкам.

– Да. А на вашем месте в то время работала госпожа Матье.

– Я – Франсина Матье. А вы, верно, знали мою маму?

– Она здорова? С ней все в порядке?

– О... не вполне. Отца убили на войне, и мама очень страдала, так что совсем расхворалась и не может больше работать. Пришлось мне пойти в обитель и попроситься на ее

место, у меня ведь, сударыня, двое младших братьев, а старшая сестра пропала в этом ужасном Париже. Простите... вы ведь тоже сейчас оттуда?

– Оттуда. И я с вами согласна, Франсина. Париж действительно ужасен.

– Вы не видели там нашей Онорины? – жалобно спросила Франсина, откладывая хлебный нож. – Она похожа на меня, только выше ростом и куда красивее.

Я взглянула на двух девчушек, которые забирали наполненные едой тарелки и расставляли их по столам. Как мне было объяснить этой чистой, честной, крепкой и свежей, словно зимнее яблоко, девушке, что Париж огромен, что он похож на чудесный дворец и на зловонную клоаку одновременно! Что ее красивая сестра может и переступить золотыми каблучками по паркету, танцуя модное танго, и лежать в канаве с провалившимся носом?

К счастью, мне ничего не пришлось ей отвечать, послышался шум, и в столовую вошли попарно, держась за руки, пансионерки. Чопорно, и все же шумно они занимали свои места на длинных скамьях. На обед было говяжье рагу, отварные овощи, а на десерт – рисовый пудинг с яблоками. Я никогда не любила овощи, а так как на тарелках не принято было что-то оставлять, мне приходилось подолгу сидеть за столом, ковыряясь в остывших соцветиях капусты. А вот рисовый пудинг я любила.

– Я приказала кухарке оставить тебе порцию пудинга, – сказала мне сестра Мари-Анж, подойдя сзади. Я не слышала ее шагов, и сначала вздрогнула, а потом улыбнулась.

– Он такой же на вкус?

– Конечно. Кухарка у нас та же, и пудинг точно так же похож на клейстер. Но он тебе всегда нравился, хотя я не могу понять почему.

– Но как вы помните это?

– Вы моя семья, – сказала сестра Мари-Анж с нажимом, как будто пыталась донести что-то до меня, втолкнуть мне в сознание какую-то информацию. – Вы все, девочки, доверенные моему попечению, – моя семья. Я помню ваши болезни, капризы, ваши игры, способности, ваши симпатии и неприязни. Быть может, когда пройдут годы, когда число выращенных мною детей превысит число прожитых мною дней, когда глаза замутятся от катаракты, а разум ослабеет, – я и выпущу воспоминания из памяти, как птицу выпускают из клетки, но теперь я помню все очень хорошо. Пойдем, ты уже достаточно помогла. Тебе надо отдохнуть.

Как я ни противилась, сестра Мари-Анж увела меня из столовой. Такова власть над нами наших учителей, что мы продолжаем подчиняться им, даже выйдя из детского возраста.

Как не похожи были покои сестры-викентианки на те комнаты, в которых я жила последнее время! Излишняя броская роскошь – и великолепная сдержанная простота. Комнаты Мари-Анж находились в старинной части здания, где ширина стен была рассчитана на то, чтобы выдержать многодневную осаду. Сестра занимала две комнаты, одна из которых была кабинетом, вторая – спальней. Грубая, сколоченная деревенским плотником, и старинная мебель стояла вперемешку. Узенькая кровать, застеленная таким же, как и у пансионера, одеялом. Мои щегольские кожаные чемоданы неуместно выглядели в этой обстановке, и я как будто немного стыдилась их.

В ванной комнате я вымылась чуть теплой водой и простым зеленым мылом с едким пронзительным запахом. Мне казалось, что я смываю с себя не только дорожную пыль, но и всю грязь парижской жизни, всю горечь последних дней, липкую копоть обиды, нечистые прикосновения чужих рук.

Все мои рубашки показались мне слишком шикарными для этих старинных каменных стен, этой монашеской постели. Я разбросала по низким креслицам и по полу свои вещи, но так и не нашла ничего подходящего. Что ж, сестра Мари-Анж не будет в обиде, если я позаимствую одну из ее полотняных сорочек.

Я слишком устала, чтобы заснуть крепко и спокойно. Я вертелась, меня беспокоило сердцебиение. Потом мне удалось задремать, но я проснулась, как мне показалось, через

несколько минут, мне приснился Александр, с бледным распухшим лицом, он повторял по-русски то, что говорил мне в ту единственную нашу ночь: «edinstvennaia moia, moia vozlyblennaya». Я все так же не понимала смысла этих слов, и я не могла спросить его об этом, потому что при каждом слове из его рта выпадала крошечная золотая рыбка, и они бились у наших ног.

В комнате кто-то был. Я приоткрыла глаза и увидела, как Мари-Анж трогает складки моего платья, которое я приготовила, чтобы надеть вечером. Потом она взяла блузку с вышивкой, висевшую на кронштейне, и поднесла к себе удивительно женственным, исконным жестом. Слегка наклонившись, она полюбовалась на себя в маленькое темное зеркало. Я лежала, не решаясь шелохнуться, чтобы не смущать ее. Но она повесила обратно блузку и весело обратилась прямо ко мне:

– Катрин, можешь вставать. Я слышу по звуку дыхания, что ты уже проснулась. Поднимайся, иначе проспичь ужин, и твой ненаглядный пудинг станет совершенно несъедобным.

Я засмеялась и вскочила. Мне казалось, что мне снова девять лет, и хотя жизнь сложна, непонятна и порой печальна, но все же в ней много чудесного, а впереди наверняка ждет счастье.

Я поужинала вместе с сестрами. Среди них немного осталось тех, кто был еще при мне, некоторые перевелись в другие места, иные отошли в лучший мир. Сестра Агнесса отлучилась по делам обители на несколько дней, сестра Урсула, ведавшая огородами, лишилась рассудка. Все такая же молчаливая, она сидела за столом, перебирая какие-то разноцветные камешки и палочки, и улыбнулась мне беззубым младенческим ртом.

После вечерней молитвы мы, наконец, смогли остаться вдвоем с сестрой Мари-Анж. Она настояла на том, чтобы я легла на кушетку, а сама села за свой стол, сняв туфли и положив ноги на низенькую скамеечку.

– Ты должна закончить образование и выяснить, что такое с моими ногами, под вечер их так и тянет, так и крутит, – со вздохом заявила она. – Наш деревенский доктор прекрасно разбирается в том, что касается желудка, и гнилые зубы рвет железной рукой, но в остальном он мало понимает. Кажется, он и не верит, что на свете есть еще какие-то болезни, считает их женскими капризами и фантазиями избалованных детей.

– Непременно, сестра. Но... разве я говорила, что учусь на врача?

– Бога ради, Катрин. Неужели ты полагаешь, что наша благословенная обитель находится на Луне? Я знаю, что ты попала в Сорбонну и что Рене нашла себе хорошее место, работает директрисой в модном ателье. Но вот что я действительно хотела бы узнать, так это почему удача повернулась к вам лицом в одночасье? Если ты не хочешь, ты можешь не говорить, но я беспокоилась о вас. Знаешь, в Париже...

– Знаю, сестра. Никто из нас не торговал телом, если вы это имеете в виду. Даже если бы это и случилось – вряд ли наши несчастные тела оценили бы так высоко, чтобы мне хватило на обучение в Сорбонне.

– Но что тогда помогло вам, мой ангел? Какой-то добрый покровитель?

– Моя мать, – сказала я.

Мы очень долго говорили в ту ночь, и, сказать по чести, у меня никогда не было такой благодарной аудитории. Сестра сжала руки и ахнула, когда я рассказала ей, как Шанель явилась в наш номер в Довилле, как мы плакали друг у друга в объятиях. Викентианка нахмурилась, когда я рассказывала ей о Бое. Она опечалилась, узнав о том, что наши с матерью отношения не были безоблачными, и уж совершенно расстроилась, когда узнала о смерти Александра и о том, что последовало за ней.

– Не знаю, имею ли я право давать тебе советы...

– Я затем и приехала, сестра Мари-Анж, чтобы просить совета...

– Тогда я обещаю тебе подумать и в меру своего знания жизни рассудить твои дела. И обещай мне, что ты завтра же поедешь на почту и дашь матери телеграмму – где ты, что с тобой.

– В этом нет нужды. Поверьте, она нисколько не беспокоится обо мне. Ей все равно.

– Ей не все равно, и ты в глубине души знаешь это. Но пусть даже так – сделай это ради моего спокойствия. Но, дитя мое, сколько в тебе накопилось обиды! Как давно ты ходила к исповеди?

– Я пойду, – сказала я, ощущая одновременно и жгучий стыд, и сладостное чувство освобождения. – Когда исповедует наш кюре? Я исповедаюсь и уеду завтра же, если я вам противна, если вы не хотите меня видеть... Только вот, я привезла... Это для сирот. Не отказывайте мне, прошу вас, примите.

Я вынула из своей сумочки чек и сконфуженно сунула его, скомканный, сестре Мари-Анж. Та, вздохнув, обняла меня прохладными руками, пахнувшими воском.

Глава 2

На следующий день я действительно исповедалась, и наш добрый кюре отпустил мне мои грехи. Я не уехала дальше почты – дала матери телеграмму, как и обещала сестре Мари-Анж. Дама за аппаратом, с высоко нарисованными на гладком лбу бровями, два раза прочитала адрес вслух, но больше не сказала ни слова.

Я осталась в обители то ли в роли гостьи, то ли в качестве великовозрастной пансионерки. Первые дни я ровно ничего не делала – только спала, ела и два раза в день мылась в ванне Мари-Анж, изводя ее зеленое мыло. Я носила черное платье и серый передник. Перед обедом я помогала в столовой Франсине, но настоящая работа началась, кажется, на четвертый день, когда сестра Мари-Анж позвала меня в лазарет с таким надрывным переливом в голосе, что я поняла – дело серьезное.

На клеенчатой кушетке сидела крохотная девчушка и смотрела на нас полными слез глазами.

– Она упала и расшибла коленку, когда дети играли в старом саду. Идет кровь, но она ни за что не хочет дать мне осмотреть себя и все время твердит, что хочет умереть, – шепотом сказала мне сестра. – Попробуй ты поговорить с ней, я уж и не знаю, что еще сказать.

Я вошла в лазарет, не зная толком, что я буду говорить и как действовать. Но слова пришли сами.

– Вы играли в старом саду? Я тоже играла там, когда была маленькой. И тоже как-то пострадала.

Девочка подняла на меня покрасневшие глаза.

– Я упала с монастырской стены, – объявила я словно о невесте каком достижении.

– Она же такая высокая, – прошептала девочка.

– Да! И вот с нее-то я и полетела вниз! С самой верхушки! Мох немного смягчил падение. Но я очень сильно ушиблась головой, и у меня нашли сотрясение мозга. Ты знаешь, что такое сотрясение мозга?

– Нет. – Теперь девочка смотрела на меня со страхом и интересом.

– Когда ты стукнешься обо что-нибудь, у тебя ведь бывает синяк? Вот и это синяк, только он внутри, под волосами, кожей и костью, прямо на мозгах. Вот ведь жуть!

– От этого можно даже умереть?

– Если синяк большой, то можно сильно заболеть. А потом у меня началась корь, и вот тогда-то я чуть не умерла. Но меня вылечили.

Я не знала, что дальше говорить и какой вывод я должна сделать из этого рассказа. Но девочка помогла мне. Она вздохнула и сказала:

– А вот моя мама умерла из-за одной царапины.

– Из-за царапины?

– Да. Она мыла пол и оцарапалась о гвоздь. Ранка уже зажила, но у мамы началась лихорадка, потом она не могла ничего есть, потому что у нее не открывался рот, а дальше она стала так ужасно корчиться, что на это невозможно было смотреть. И она умерла.

– Эта болезнь называется столбняк. Ее можно было вылечить, если бы лечение начали вовремя.

– Нет, – возразила мне эта малявка. – Доктор сказал, эта болезнь неизлечимая, и кто заразился ею, тот непременно умрет.

– Мне жаль твою маму, малышка. Можно я посмотрю твою ногу?

Со вздохом девочка убрала руку. Ее чулок оказался порван, сквозь него просочилась кровь.

– Давай снимем его. Ты рассекла ногу о камень?

Конечно, о камень. Я знаю этот камень, его много в Лилле. Это сланец, когда он раскалывается, у него образуется острая, как нож, кромка. Девочка рассекла кожу, и теперь из раны текла кровь. Но малышка словно не чувствовала боли и смотрела на меня, а не на большое место.

– Я тоже теперь умру, как мама, – сказала она.

– Нет, – убежденно возразила я. – Ни в коем случае. Но мне нужно обработать твою рану. Ничего хорошего не будет, если туда попадет инфекция.

– Но я хочу умереть, – ответила девочка, и из-под ее крепко зажмуренных век брызнули слезы.

– Твоя мама будет очень расстроена, – сказала я и протянула руку за антисептиком – осторожно, словно на столике не склянка с риванолом, а птица, которую я должна схватить. – Разве для того она тебя родила, кормила и воспитывала?

Я осторожно обработала ее ранку и смыла кровь. Хорошо, что рана была небольшая – швы не понадобились. Девочка даже не вздрагивала, хотя я точно знала – ей больно.

– Как тебя зовут? – спросила я у нее, накладывая повязку.

– Мишель, – сказала малышка. И сразу же: – Она меня бросила.

Я села рядом с Мишель на клеенчатую кушетку. Мне хотелось обнять ее за плечи, но я не знала, как она к этому отнесется. В свое время мне доводилось испытывать самые противоречивые чувства от прикосновений. С одной стороны, мне были мучительны любые близкие контакты, которые словно нарушали мое одиночество, вторгаясь в ту единственную сферу, где я могла принадлежать самой себе. И тем не менее мне порой очень хотелось прижаться к кому-то, ощутить тепло и защищенность. И я не обняла Мишель. Я сказала ей:

– Она не хотела.

Тогда она сама обняла меня, вернее, положила голову мне на плечо и заплакала.

Скрипнула дверь, сестра Мари-Анж показалась и тут же скрылась. Я подождала, когда рыдания девочки перейдут во всхлипывания, а потом мягко отстранила ее от себя и утерла ей слезы своим платком.

– Твоя мама не хотела тебя бросать. Она не виновата в том, что заболела и умерла. Люди умирают. Даже самые лучшие, даже те, кто должен бы жить сто лет. Бесплезно злиться, сетовать и обижаться на них. Мы можем только жить так, чтобы они гордились нами.

– Спасибо, сестра, – сказала Мишель, и я снова подивилась силе духа этой малышки. – Ваш платок чудесно пахнет.

Потом она встала и вышла из лазарета – с прямыми плечами и спиной, только слегка прихрамывая.

– Она назвала меня «сестрой», – сказала я сестре Мари-Анж. – Решила, что я монахиня.

– Ничего удивительного, дитя мое. Ты только посмотри на себя. Зачем ты носишь это гадкое черное платье и сиротский фартучек? Или ты думаешь, что обязана выглядеть именно так?

Я посмотрела на монахиню с удивлением. Ее глаза искрились мягким весельем.

– Но я полагала...

– Дитя, нет ничего дурного в красивых платьях. Мы, викентианки, приносим обеты бедности, целомудрия, послушания и служения бедным. Но ты не давала таких обетов, и наши пансионерки также. Тебе нет необходимости выглядеть монашкой и вести себя так же, напротив, мне бы хотелось, чтобы ты поговорила с нашими девочками, поделилась с ними опытом.

– Опытом? – смутилась я. – Но какой же у меня может быть опыт?

– О, очень ценный! Ты вступила в жизнь самостоятельно, хотя не бывала нигде, кроме монастыря. Мы старались дать вам некоторые житейские знания, показать людей, но сознаю,

что этого было недостаточно. И все же ты не пропала, смогла найти свою дорогу в жизни и добилась многого.

– Но я несчастна, сестра Мари-Анж. Кому нужны советы от несчастной девушки?

– Ну-ну. Мы постараемся помочь тебе, дитя.

И я видела, что она старается мне помочь. Ее лицо все чаще принимало выражение сосредоточенной доброты, каким оно бывало только во время молитвы. Я спала на пансионерской кровати в спальне и подолгу видела свет в ее кабинете. На столе появились новые книги. Все чаще и чаще сестра Мари-Анж листала черные тетради в клеенчатых переплетах. Их было пять, они были исписаны убористым аккуратным почерком, и я догадывалась, что это ее дневники.

Как-то вечером она подозвала меня к себе:

– Я не знаю, друг мой, до чего дошла нынешняя медицинская наука, какие тайны человеческой души она открыла. Быть может, ты уже знаешь все, что я хочу сказать тебе, и только посмеешься над моими изысканиями... Но в любом случае выслушай. Скажи, ты видела утят?

– Утят? – удивилась я. – Да, я видела утят.

– Видела, как они, едва вылупившись и обсохнув, бегут за своей матерью?

– Конечно.

– Но откуда они знают, что нужно бежать за ней? Почему понимают, что это их мать, которая о них позаботится? Как узнают ее? Так вот, дитя мое. Утенок не может понять, что это – его мама. Он просто привязывается к любому движущемуся существу, оказавшемуся в поле его зрения после того, как он клювом разобьет скорлупу. Были случаи, когда на утиные яйца сажали курицу, и даже кошку, а в соседней деревне трактирщик, сломавший бедро, за время своей болезни отогрел своим телом целых две дюжины яиц, так что все они проклюнулись. Что говорит по этому поводу наука?

Я улыбнулась.

– Продолжайте, сестра, прошу вас. Я просто не могу пока понять, к чему вы клоните? Утенок – это я?

– Утята – это вы все. Все дети, которых я видела в этом приюте. Те, кто успел привязаться к кому-то – быть может, даже к дурной матери. Те, кто попал к опекунам – пусть не к самым ласковым. Кто успел узнать хоть какое-то подобие семьи. Они смогли привязаться к кому-то, у них получилось, сработало. Они умеют жить семьей.

– А я – нет. Значит, дело не в моей матери. А во мне.

– Увы, и в ней тоже. Она, как ты говоришь, сирота, долго жила в приюте. О семье у нее было самое приблизительное представление, как я поняла. И у тебя тоже, – грустно покачала головой сестра Мари-Анж. – И в этом есть моя вина. Я всегда настаивала на том, чтобы подыскивать сиротам опекунов. Но мой голос тогда значил мало, да к тому же ты была слишком болезненным ребенком, чтобы заинтересовать крестьянские семьи. Не скрою, в основном девочки из приюта переходили туда.

Я задумалась. Было бы мне тяжело и трудно жить в деревне или на ферме, вести хозяйство? Я решила, что нет. Мне нравится вставать на рассвете, я люблю физический труд. Когда мы жили на вилле «Легкое дыхание», я помогала садовнику сгрести листву с дорожек, даже окапывала клумбы. Мне нравились животные...

– К тому же в тебе видны были отличные способности, а в крестьянской семье ты была бы лишена возможности учиться, – осторожно досказала сестра, глядя на меня испытующим и в то же время просящим взглядом.

Я поняла ее страх, ее опасение за то, что она неправильно распорядилась моей судьбой, безвозвратно лишила меня чего-то, испортила мне жизнь... И я обняла ее.

– Вы все сделали правильно. Я рада, что у меня была возможность учиться в школе. Только благодаря вам я поступила в Сорбонну, увидела настоящих людей. Но, скажите мне, значит ли это, что я не смогу создать свою семью? Любить своих детей?

– Я не знаю, Катрин. Я и в самом деле не знаю. У меня нет фактов, которые доказывали бы это.

– Как нет и тех, что опровергали бы это...

Я набрала побольше воздуха в легкие:

– Я должна остаться тут. Здесь мой дом, мое место. Здесь я могу принести пользу людям. Я стану такой, как вы. Приму обет. Я имею право практиковать в качестве фельдшера, не боюсь тяжелой работы и не успела пристраститься к роскоши. Сестра, я...

Но она покачала головой.

– Отчаяние и неумение жить в миру – еще не повод, чтобы становиться монахиней, дитя мое. Даже утрата любимого человека – недостаточная причина. Приносить пользу людям ты можешь, став доктором, хорошим доктором. Лично я не вижу в тебе ни малейшей склонности к монашеству. В тебе столько жизни, страсти... Ты должна уехать и жить дальше. Пробовать. Ошибаться. Получать удары. Но жить полной жизнью!

Печаль послышалась мне в голосе сестры Мари-Анж. Вдруг я подумала, что ничего не знаю о том, как она стала монахиней. Вероятно, она приняла постриг совсем юной девушкой. Быть может, ей пришлось пожалеть о принятом решении, но она продолжает выполнять свой долг, как она его понимает. Но мне достало такта не спрашивать ее об этом, у сестры Мари-Анж было право на тайну.

Я прожила в обители еще месяц. Мне не хватало моих учебников, но через три дня невзрачный человек в вязаном кашне и форме рассыльного привез мне тяжелые свертки и записку от Шанель:

«Катрин, ты так внезапно уехала, и я не успела поговорить с тобой. Но, возможно, это было тебе необходимо. Высылаю тебе твои книги, они тебе пригодятся. И кое-что еще, что могло бы тебе пригодиться».

В этом была вся Шанель. Кроме учебников, она прислала мне целый ящик с милыми парижскими пустяками. Там были пробные флакончики духов «Шанель №5», ленты, нитки искусственного жемчуга, кусочки мыла, выполненные в виде зверюшек и завернутые в вощеную бумагу, иголки, ножнички, шпильки, булавки с головками в виде звезд, солнц и лун... В общем, все то, чего так недоставало женщинам после войны, – прелестные вещицы, одновременно никчемные и необходимые. Они оченьгодились мне – я дарила их пансионеркам, чем снискала их горячую любовь. Впрочем, любовь эта была не так уж и корыстна, они и без того ходили за мной хвостиками в свободное от занятий время.

– Девочки обожают новых людей. Им так нужны свежие впечатления! Помнишь, как вы бегали к воротам встречать подводы? – заметила сестра Мари-Анж. – Теперь они по очереди смотрят в щелку на твой автомобиль. Мечтают о том, что ты покатаешь их. И я очень благодарна тебе за все те пустячки, что ты им даришь. Надеюсь, это не очень накладно для тебя?

Я смутилась. Опасаясь нарушить строгость порядка, я совала свои мелкие дары пансионеркам украдкой.

– Это очень хорошо, – продолжала сестра. – Увы, наши ресурсы рассчитаны только на то, чтобы давать девочкам необходимое, а на лишнее денег никогда не хватает. Иногда у малышей заводится монетка-другая, и они тратят их в деревне на ярмарке, но там нельзя купить таких красивых вещей, все довольно грубое, и уж никак не способствует развитию вкуса. А для девочек так важно иметь что-то, что принадлежало бы только им! Это помогает им обрести чувство собственной значимости, если ты понимаешь, что я хочу сказать.

Конечно, я поняла – и дала себе слово непременно покатасть на автомобиле малышей.

Я стала хуже спать. Засиживалась над книгами далеко за полночь, потом вытягивалась на узкой кровати и начинала прислушиваться. Мне не хватало привычного парижского шума. Сколько месяцев, засыпая, слышала я звуки танго из кафе, рокот проезжавших мимо автомобилей, слышала, как хохочут подгулявшие студенты и цокают каблуками девицы легкого поведения. А в старинной обители царил тишина, только порой во внутреннем дворе кричали петухи. Я отсчитывала по ним часы – два, три... По временам своего детства помнила – так тихо бывает только в пост, перед Пасхой...

Ночь. В Гефсиманском саду молится на коленях Иисус. «Авва Отче, пронеси эту чашу мимо меня!» Тоска терзает его сердце – сердце человека. Но душа, отданная Отцу Небесному, спокойна, и Иисус, отирая с чела кровавый пот, говорит: «Не Моя воля, но Твоя да будет!» А ученики его заснули от печали, и он будит их кротким упреком: «Не могли и часа бодрствовать со мною? Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня!» И в то время, когда он так говорит, в сад врывается беснующаяся толпа. У них факелы, у них мечи, у них копья – словно они готовятся пленить разбойника или убийцу, а не кроткого Иисуса, который никогда никому не сопротивлялся. Он еще мог бы скрыться с помощью учеников, потому что по саду мечутся тени, ночь и людская суматоха ему подмогой... Но толпа расступается, и навстречу Иисусу выходит Иуда. Он заранее условился с первосвященниками и старейшинами, сказав: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его». Выражение дружбы и любви Иуда применяет как выражение предательства. Желает ли он до последней минуты скрыть от Учителя свой преступный замысел? Или выражает таким образом свою ненависть, с сатанинской насмешкой употребляя доброе – для злого? Быть может, он просто глуп и не понимает значения своего поступка? Скорее последнее, потому что недаром же Учитель спрашивает ученика, принимая его целование: «Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?»

На него налагают руки и хотят вести, но тут Петр обнажает меч. У него горячее сердце и решительные нрав. Именно он хотел идти по воде за Спасителем. И он отсекает рабу первосвященника ухо.

Печально глядит Иисус на своего ученика, качает головой. Нет нужды проливать кровь, когда вершится воля Его. Если бы Иисус позвал – двенадцать легионов ангелов, вооруженных мечами огненными, явилось бы ему на помощь. Но Он готов пожертвовать собой ради своих детей, и потому исцеляет раба по имени Малх, и идет с пленившими Его.

И ведут Иисуса к первосвященнику Каиафе; и собираются к нему в дом все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следует за Ним, пробирается внутрь двора. Там рабы и служанки развели костры, потому что ночь была холодной и темной – о, должно быть, как эта самая ночь! Слуги не решаются идти спать, потому что ночь выдалась беспокойная – из дома первосвященника раздаются голоса, там горят огни и ходят люди. Схватили кого-то, но кого? Галилеянина, преступника, замышлявшего темные дела. Правда, многие говорят, что галилеянин всегда выступал открыто и никогда тайно не подстрекал людей ни против божьих, ни против человеческих законов; но раз его схватили, значит, он все-таки в чем-то виновен, без вины народ не озлился бы против человека... Проходя от костра к костру, слушая разговоры, Петр начал привлекать к себе внимание, тогда он решает присесть тихонько у огня, быть может спрятав лицо под плащом. Он тоже садится к огню, чтобы казаться своим. Но тут приходит раба-привратница, которая видела, как привели пленного. Она пристально смотрит на Петра и говорит:

– А ведь ты тоже был с Иисусом Назарянином.

– Я не знаю, о ком ты говоришь, женщина, – отвечает ей Петр.

И в это время поет петух, в дверях дома появляются седобородые фарисеи и книжники, они бурно жестикулируют и рассказывают что-то друг другу, указывая в сторону покоев первосвященника, словно тот, кто сейчас там стоит, – страшный преступник и готов обречь

народ на гибель. Слуги и рабы вытягивают шеи, таращат глаза, словно ночные птицы. Только привратница и еще один слуга смотрят в упор на Петра и говорят, словно между собой:

– А все же он не из наших. Должно быть, он пришел с тем...

– Да говорю же я вам – нет! – кричит Петр.

Петру делается страшно, он больше не в силах оставаться на месте, но и уйти он не смеет. Он на цыпочках идет к окну, за которым Учитель тихо что-то говорит Каиафе. О, этот голос, этот тихий голос, внушающий надежду, обещающий радость, спасение, вечное блаженство – не здесь, на земле, но Там, где-то там, далеко и высоко, где Петр вечно будет сидеть по правую руку от Иисуса. И тут, у стены, Петра узнает раб, родственник Малха.

– А все же ты был с человеком из Галилеи!

– Нет, нет, – бормочет смущенный Петр. – Я всего лишь бедный рыбак, я пришел сюда, чтобы продать немного рыбы...

– Точно ты из них! – кричит раб. – Ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно!

– Клянусь, я не знаю Человека Сего, о Котором говорите, – бормочет Петр, он закрывает лицо, он крадется из сада прочь. И тогда во второй раз поет петух. Ночь в четвертом часу, это галлициний, петушиный час, время, когда меняется стража. Обличенный, трепещущий, ненавистный самому себе, Петр бросается прочь, он бежит куда глаза глядят и помнит только сказанное Учителем:

– Прежде нежели дважды прокричит петух – ты трижды отречешься от меня!

О скорбный галлициний! О страшный час, когда, согласно науке, течение жизни в человеке ослабевает до того, что истощенные и ослабленные умирают именно в это время! Черный час для всех предателей, беглецов, отрекшихся; для всех, кто бежит, скрывая свое лицо; кто не имеет в себе силы посмотреть жизни в глаза...

Замирая от тоски, я повернулась лицом к стене, но скрип пружин под моими ребрами не смог заглушить тихого голоса, позвавшего меня, как встарь:

– Катрин...

Глава 3

Через несколько лет австрийский ученый по фамилии Лоренц подтвердит теорию викентианки Мари-Анж, наблюдая за серыми гусями. Описанное им явление станет известно как импринтинг. Импринтинг начинается вскоре после рождения, и в результате возникает жесткая привязанность к взрослому животному, обычно к матери, которая впоследствии с трудом поддается изменению. Если матери нет рядом – привязанность возникает к любому объекту, оказавшемуся в поле зрения существа, – к человеку, кошке, даже к воздушному шару.

Так случилось и со мной. Меня отлучили от матери вскоре после моего рождения и сразу же вслед за рождением моего брата, крепко обнявшись с которым, мы сладко дремали в теплой колыбели. Он был мертв, меня тоже приняли за мертвую. Нас положили рядом в металлический сосуд и отнесли в подвал, в мертвецкую. Целую ночь, холодную дождливую ночь, живая сестра лежала рядом с мертвым братом. Не в тот ли момент произошло запечатление? Не тогда ли мой брат, которого я назвала бог знает где услышанным именем Октав, стал для меня главным человеком на свете?

Я так никогда и не узнала, оживила ли его моя беспокойная фантазия или, по закону таинственной связи, всегда существующей между близнецами, часть его души осталась в земной юдоли и сопровождала меня всю жизнь. Порой он помогал мне в трудную минуту. Иногда сообщал мне вещи, о которых я не могла бы узнать сама – об опасности, грозящей моей жизни или жизни нашей матери. Могло ли это быть сигналами сильно развитой интуиции? Когда-то, когда мы были еще детьми, брат предупредил меня о пожаре в обители – но разве я не могла сама почувствовать запах дыма? Могла, – а остальное довершило работающее воображение? Однако я не хочу этого. Я хочу думать, что кто-то меня хранит. Кто-то заботится обо мне.

Он снова сидел в ногах на моей кровати. Я узнала его сразу, хотя он изменился, вырос и возмужал. Без страха, но с радостью и печалью рассматривала я его. Вот каким стал бы мой брат-близнец. Выше меня, но все же не слишком высокий, стройный и легкий, с широкими плечами, длинными ладонями. Наше внешнее сходство очевидно, только его черты лица, так похожие на мои собственные, выглядят куда более привлекательно. Он был бы замечательным юношей, мой брат. Мы могли бы жить под одной крышей. Кататься по набережной на велосипедах. Вместе ходить в университет на лекции. Обедать в маленьких кабачках. Быть может, он, как и я, любил бы простую еду – рагу из бараньих ребрышек, например.

Быть может, мы вместе бы приезжали в гости к матери. Интересно, чувствовала бы она себя матерью по отношению не к одному, а к двум детям? Стала бы вести себя чуть более сдержанно и правильно?

Вряд ли. Шанель – это Шанель. Она не переделает своей природы. Напрасно я ждала от нее этого.

Впрочем, разве она не ждала от меня того же?

– Октав, – прошептала я одними губами, так чтобы не услышала сестра Мари-Анж, спавшая в соседней комнате. Сон у нее всегда был чуткий, а тот, к кому я обращаюсь, услышит меня и без слов. – Октав...

– Тебе нужно отправляться в путь, Вороненок, – сказал он. – Возвращайся домой.

– Я хочу остаться здесь, – жалобно захныкала я. – Мне тут так хорошо и спокойно. Я бы осталась здесь навсегда.

– Но ты нужна ей. А она – нужна тебе. И ты сама знаешь, что это так. Катрин! Катрин!

Почему его голос так изменился? Я подняла голову, и в глаза мне ударил яркий утренний свет. Сестра Мари-Анж стояла надо мной и улыбалась.

– Вставай, спящая красавица. Седьмой час.

Она прервала сон, беспокойный, но приятный. Я потянулась так, что хрустнули кости. Как рано встают в обители! И ложатся рано. В Париже жизнь начинается только после обеда. Я вспомнила, как Рене долго привыкала к этому распорядку. Хорошо бы съездить, навестить ее...

И вдруг я вспомнила свой сон.

– Мне кажется, мне нужно съездить домой, – сказала я вслух, и сестра Мари-Анж кивком одобрила мое неожиданное решение.

Я уехала сразу после завтрака, провожаемая напутствиями сестры и сожалениями пансионеров. У меня в носу защипало, когда я увидела, как эти малявки высыпали на высокое крыльцо.

– Мадемуазель Катрин, приезжайте еще!

– Возвращайтесь поскорее!

– Привезите гостинцев! – пискнула маленькая Кларисса, и на нее сразу же зашикали. Мишель стояла впереди всех, ее коленка почти зажила, повязку уже сняли. Она ничего не говорила, но все можно было прочесть по ее грустным глазам. И мне было грустно. Почему все время нужно уезжать, оставляя кого-то?

– В самом деле, навещай нас, – сказала на прощание моя наставница. – От Парижа до обители не такое уж большое расстояние.

И я пообещала.

На самом деле я уже успела соскучиться по Парижу. Мой глаз отвык от простора полей и рощ, моему слуху звуки большого города были приятнее пения птиц и шума вод. Стройность его зданий, прямизна его бульваров заставляли меня внутренне подтянуться, Эйфелева башня учила меня высоко держать голову. Как я любила ее! А ведь когда-то творческая интеллигенция всей Франции была возмущена проектом инженера Эйфеля и с самого начала строительства забрасывала мэрию Парижа гневными письмами, требуя остановить постройку башни. Опасались, что тяжеловесная металлическая конструкция будет подавлять архитектуру города, испортит неповторимый облик столицы, что сложился за несколько столетий. Александр Дюма-сын, Ги де Мопассан, Эмиль Золя и еще двести с лишком писателей, композиторов и художников направили официальный протест в адрес правительства, называя башню чудовищной, бесполезной, смехотворной, ненавистной, сравнивая ее с дымовой трубой, виселицей и чернильной кляксой. Но мэтры от искусства зря беспокоились, не железной казалась башня парижанам, а кружевной воздушной, словно замок фата-морганы, легкой, как полдневный мираж. И практическим целям она послужила: заговорила во время войны, передавая легчайшим телеграфным языком зашифрованные сообщения. Презренное творение Эйфеля заслужило благосклонность французов, стало предметом национальной гордости. Толпы иностранцев приходили поглазеть на башню. Отобедать в ресторане на первом уровне считал своим долгом каждый сноб, а на лестницах организовывали соревнования на скорость подъема. Облюбовали башню и самоубийцы. Разорившийся рантье, страдающий от несчастной любви поэт, подцепившая сифилис девица – все полагали последним долгом чести совершить небольшой полет с опоры башни.

А не так давно она заговорила – теперь уж не только с Пантеоном, а со всем миром, со всеми, кто имел желание и возможность наклониться к радиоприемнику. Радио пока еще было невероятной новинкой. Мне, впрочем, Шанель подарила американский приемник марки «Накко». Он считался портативным и занимал целый стол, да еще раструб... Над ним нужно было долго колдовать, чтобы заставить его говорить и петь ангельскими голосами, но дело того стоило... Ах, как соскучилась я по Парижу, по своему приемнику и по матери, если уж честно.

Я видела ее в своем воображении как наяву: вот она в своей мастерской. Маленькая, черная, словно скворец, в идеально сидящем костюме – только глубокий карман жакета оттопыривают огромные закройные ножницы. Из рта она не выпускает папиросы, прищуривает левый глаз от синей струйки дыма. Модель стоит неподвижно, подняв руку и обнажив гладкую, как у мраморного изваяния, подмышку, – Шанель любит работать с живыми манекенами, тут сказываются и ее перфекционизм – «мне надо видеть, как это смотрится на живом человеке, а не на тряпочном кадавре!», и эгоизм – «ей ведь платят за это? Значит, она вполне может постоять часок спокойно!». В самом деле, манекенам Шанель платила весьма щедро.

Я видела ее у стойки кафе «Бык на крыше» в большой и шумной компании – по правую руку ее неустрашимая подруга, рыжеволосая и вульгарная Мися со своим грязноватым супругом, Пикассо, правнук писателя Гюго, Серж Лифарь и прочие творческие личности, с которыми она водила знакомство, поэты, танцовщики, гомосексуалисты. Изысканно-красивый Жан Кокто подливает виски своему новому приятелю. Это хрупкий красивый мальчик, Раймон Радиге, по прозвищу Малыш. Он пишет весьма изысканные стихи и уже издал роман «Бес в крови», где идет речь о том, как во время войны молодая женщина изменяет своему мужу-солдату с пятнадцатилетним оболтусом. О Раймоне говорили, что он умеет извлекать материальную пользу из своей сексуальности. Несмотря на крайнюю испорченность, он был очень религиозен, аккуратно ходил к мессе, носил на шее целый жернов из разнообразных образков святых и любил говорить о смерти.

– Я умру молодым! Меня в упор расстреляют ангелы! – говорил он, раскидывая руки в жутком пародийном жесте распятия.

И среди всех этих богемных персонажей – она. Хрупкая, легкая, утопающая в слоях синего папиросного дыма, еле заметная на фоне аляпистой живописи дадаистов – зато хорошо слышная! – ее горячий и резкий голос перекрывает модные американские песенки, которые наигрывает на фортепиано тапёр. Руки заложены в карманы, глаза весело блестят. Ее собеседники привыкли к оригинальности, к блеску парадоксов, к нарочитому презрению условностей, зато Шанель в отличие от них рассуждает очень здраво. Ее живой, острый и практический ум неизменно привлекал к ней собеседников. И уж конечно, она платила, она щедро платила за всю компанию, раскрывая свой бумажник, выписывая чеки росчерком своего золотого «вечного пера». Мелко-мелко трепетал окрашенный чернилами клювик над бледно-голубыми листочками ее чековой книжки, и она ставила свою подпись с видимым удовольствием. Однажды она сказала мне:

– Когда-то я была очень юна и еще более того бедна. Я жила в крошечной комнате размером с почтовую марку, куда не могла войти даже вторая кровать, и мы с сестрой спали вместе, на одной узкой постели, ложась – она головой в одну сторону, я в другую. Я работала в швейной мастерской и пробовала завоевать славу, исполняя фривольные песенки в кабаках. У меня было одно-единственное платье и одна шляпка, я без конца их перedelывала и мечтала о том, чтобы у меня была чековая книжка. Чтобы не мужчины платили за мою рюмочку или чашку кофе и круассан, а я сама платила за них!

Положение содержанки было для нее невозможно, невысказано. Разве так уж мы были не похожи друг на друга? Она тоже любила поездки на автомобиле, как и я. Солнечная пыль дорог! Ветер треплет концы моего пестрого шелкового шарфа, мимо проносятся деревья, дома, я обгоняю повозки и велосипедистов. Уезжала я совсем в другом настроении, нежели приехала. Я была молода, полна сил, в конце концов, я француженка, черт возьми. Рана, нанесенная утратой любимого человека, все еще кровоточила, но я чувствовала в себе силы жить дальше, учиться, работать на благо людей и развлекаться – ради собственного удовольствия.

И, разумеется, я чувствовала в себе силы простить мать за ее невнимание ко мне. Сестра Мари-Анж была права – Шанель просто не могла научиться быть мне матерью, так

же как и я не умела быть ничьей дочерью. Этому нельзя научиться, это нужно чувствовать. Но я, по крайней мере, старалась. Разве я не побежала сломя голову к ней, когда погиб Бой? Когда ей требовались дружба и участие? Ведь я вправе была обидеться на нее, разве нет? Но я нашла в себе достаточно великодушия, чтобы не винить ее за легкомыслие.

В конце концов, Шанель – это Шанель.

Время летит быстрее, когда на душе легко. Я и не заметила, как въехала в предместья Парижа. Запахло сыростью, человеческими испарениями, жавелем, применяемым для стирки и мытья. У домов сидели старики, выбравшиеся погреться на солнышке. На тротуарах играли без присмотра дети. Я сбросила ход, потому что боялась сбить кого-нибудь из этих сорванцов, играющих в мяч. Удивительно грязные, в каких-то обносках и опорках, с красными озябшими носами, испитыми личиками... А какая бедность и грязь вокруг! В деревне нищета заметна меньше. Там не может быть такой грязи – земля сама избавляется от лишнего. Там всегда вдоволь пусть самой простой и грубой, но свежей и здоровой пищи, там семейства не ютятся в одной душевной конуре, а располагаются относительно привольно, там уборные стоят поодаль от домов и не распространяют зловония. А в этих старых жилых домах – одна уборная на целый этаж, они соединены с выгребной ямой. Выгребные ямы опустошают дважды в неделю по ночам, перекачивая содержимое насосом в бочки. Запах, который распространяется при этом, не поддается описанию. Конечно, в этих домах люди часто и подолгу болеют. Дизентерия, туберкулез, полиомиелит. Всякое заболевание в условиях крайней скученности быстро перерастает в эпидемию. Всего несколько лет назад эпидемия испанского гриппа почти выкосила предместья. Напуганные сходством симптомов испанского гриппа и легочной чумы, люди предпочитали не обращаться к доктору, а обреченно хворать в своих собственных постелях. Иной раз там и умирали, и лежали непогребенными, неоплаканными, пока доброхоты-соседи не решали похоронить их. Аптек тут было мало, редко-редко попадалась витрина, украшенная склянками с жидкостью ядовитых цветов, кислородными подушками да кружками Эсмарха, а чаще встречались лавчонки под вывесками «Вино», «Дрова», «Бакалея», и иногда кое-где прилеплялось объявление: опытная акушерка сделает специальный массаж, согревающую ванну. Знаем мы эту ванну! Зря все же наше правительство приняло этот закон, почти запрещающий контрацепцию и уже сточающий наказание за аборт – как самой абортнице, так и акушеру. Дело ясное: нашей бедной Франции требовались новые солдаты, новое пушечное мясо – на случай, если снова нужно будет дать урок немцам, этим проклятым бошам¹.

Но, как это обычно бывает, репрессивные меры не принесли желаемого результата. Женщины боялись рожать в нищете, не желали плодить пушечное мясо, не намерены были отказываться от новых преимуществ, которые дала им война. И если богатые дамы ездили избавиться от ненужного плода в дорогие санатории Швейцарии или в клиники Италии, то жительницам предместий не оставалось ничего иного, как обращаться к таким вот акушеркам. Мне случилось видеть как-то целую коллекцию из предметов, применяемых акушерками для производства искусственного выкидыша, – чего там только не было! Вязальные спицы, веретена, крючки для застегивания ботинок, шляпные булавки, проволока, ложки, гвозди, гусиные перья... По свидетельству владельца коллекции, там была даже обыкновенная морковь, глубоко загнанная в цервикальный канал несчастной, но ее по понятным причинам сохранить не удалось. Беременным дают принимать внутрь растворы пороха и сулемы, шафран, хинин, метиловую синьку, настойку спорыньи и перьев лука, впрыскивают им в матку йод, спирт и марганцовокислый калий. Одна остроумная лекарка устроила у себя

¹ **Бош** – презрительное название немцев во Франции. Несмотря на сходство с распространенной немецкой фамилией Bosch, этимология прозвища иная. Слово *boche* – афереза слова *alboche*, которое было образовано из «al» (французское название немецкого языка – *allemand*) и «boche» (от *fr. caboche* – башка).

на дому «гимнастический прибор» – два столба и толстая доска между ними. Женщина, вставала между столбами, а акушерка наводила доску на живот так, чтобы ее верхнее ребро приходилось на уровень пупа. Потом бросала на землю платок и приказывала пациентке достать его зубами. Знающие люди говорили, что это упражнение заканчивалось желанным выкидышем. А сколько женщин после этих варварских процедур доставлялось в государственные больницы? Сколько без всякой помощи умирали в полутемных углах, на заскорузлых от крови тряпках?

Я ощутила тошнотворное головокружение, как в первый раз в анатомичке. Я тоже могла бы забеременеть после той ночи с незнакомцем, когда отчаявшаяся, с разбитым сердцем, уставшая до полусмерти, вернулась в Париж из Довилля, где схоронила своего жениха. И что же я застала в Париже? Полный дом гостей и свою мать, развлекающуюся в библиотеке со своим любимым поэтом – и вовсе не в том целомудренном смысле, который можно заподозрить, прочитав эту фразу. Путь в мою комнату лежал как раз через библиотеку, и я выбрала иной вариант – провести ночь в спальне для гостей, уже занятой мужчиной, который с готовностью принял меня на своем ложе. Кто это был? Да кто угодно, даже развратный мальчишка Радиге. И вот он мог бы стать отцом моего ребенка? Уж конечно, я бы захотела избавиться от этой непрошенной жизни. Разумеется, Шанель отвезла бы меня в Швейцарию, в горный санаторий, где я, после несложной операции, еще некоторое время лечилась бы от «анемии», допустим. Но... Но... Черт побери, как все в жизни неудобно и нелепо устроено! И эти дети с усталыми глазами стариков, слишком рано познавшие жизнь, и эти старики, впавшие в детство, одряхлевшие до срока...

Я не хотела сразу ехать к матери на Фубур Сент-Оноре – еще свежа была память о том, как я убежала оттуда на рассвете, словно преступница. Я думала переночевать в гостинице, и даже выбрала для себя очень славную, как мне показалось на первый взгляд, семейную. Она называлась «Доброй ночи». Я никогда не бывала в подобного рода заведениях, мой опыт ограничивался курортными отелями. А тут я сразу поняла, что гостиница служит иным нуждам, нежели отдых от трудов праведных. Хозяйка за стойкой, смуглая и жирная уроженка Прованса, разговаривала лукаво и слащаво, едва не подмигивая, и спросила меня:

– Вы на время или на всю ночь?

А когда я отпирала дверь нанятого мной номера ключом с тяжелым деревянным брелоком, соседняя дверь отворилась и показалась усатая физиономия.

– Устраиваетесь на ночлег, милашка? – пробасил носитель пышных усов и плотоядно облизнулся.

Я влетела в номер и хлопнула дверью. Ну и местечко! Потертая позолота и лиловый бархат. У гипсового амура отвалился нос, как у сифилитика. Очень душно. А запах! Запах! Такого даже в Латинском квартале не было. Придется отворить окно. Смесь прокисшего шампанского, сырости, дешевых духов и мускусный запах секса. На складках балдахина заметны следы – явно от раздавленных насекомых. Клещи! Я вскочила, подхватив сумку. Я согласна вытерпеть грязные намеки и неприятные запахи, но чтобы меня кусали мерзкие твари? Да и черт знает, что за болезни можно подцепить на этих простынях в потеках синьки!

В дверь номера деликатно постучали – портье принес мой багаж, причем немедленно сделал популярный жест, большой палец руки потирает средний и указательный, намекая на необходимость мзды. Ага, как же.

– Несите чемодан обратно. Я тут не останусь, – сказала я сдержанно, хотя мне очень хотелось завизжать в голос.

– Деньги мы не возвращаем! – крикнула из-за стойки уроженка Прованса.

– И не надо, – с достоинством сказала я.

К моему счастью, на улице Фубур не было гостей. Высокие окна гостиной были слепы.

Глава 4

Я могла опоздать. Еще немного – и я опоздала бы. И тогда моя жизнь была бы кончена, просто кончена. Я могла бы задержаться в монастыре, чтобы еще разок прокатить пансионерок до деревни и обратно, но им пора было идти в школу. Я могла бы вернуться обратно за забытой куклой Коко, так и оставшейся сидеть в кабинете сестры Мари-Анж, – ее вольготная поза и папироска в зубах так не подходили этой строгой комнате, но я решила, что у меня будет повод навестить обитель опять. По дороге у меня могло спустить колесо, или могла случиться еще какая-нибудь поломка в автомобиле, но ничего не произошло. В конце концов, я могла остаться ночевать в той блестящей и нищей комнатухе и полночи отражать кавалерийские наскоки усатого соседа. А еще полночи – наскоки не менее наглых, охочих до сладкой девичьей кровушки клопов. И тогда утром, когда я приехала бы на улицу Фубур, все было бы кончено.

Конечно, ее бы нашла прислуга. Горничная приносила ей кофе в постель, всегда, неизменно, это был излюбленный ритуал Шанель. И в то утро горничная нашла бы ее мертвой... С пузырьком из-под таблеток морфия, зажатым в руке. И ополовиненная бутылка старого виски лежала бы на ковре, источая аромат дубовой бочки. Горничная провалялась бы в обмороке минут пять, а после – врачи, коронеры, жандармерия. Я приехала бы в лучшем случае к тому моменту, когда ее тело забрали бы для исследования обстоятельств смерти. А где *вы* были в этот час, мадемуазель Боннёр?

Слава богу, я не опоздала, или это она задержалась. Она могла бы одним махом проглотить пузырек, ополовинить залпом бутылку из горлышка и запереть двери спальни. Но она этого не сделала – не запирала двери, чтобы не пришлось ломать, и не глотала разом яд и спиртное, потому что спешить за едой вообще было не в ее привычке. Когда я вошла, она лежала в своей кровати. На ней была белая шелковая пижама, расшитая серебряными рыбками, ее умытое лицо словно светилось изнутри. Словно ароматическую пастилку из бонбоньерки, она достала из банки таблетку, положила себе в рот и запила глотком виски из резного хрустального бокала. Брякнули льдинки. Я подошла неслышно. Я подкралась к ее двери. Нет, мне не стыдно. Мне нужно было проверить – что, если она с мужчиной?

Но она была одна, наряженная, как новобрачная, светящаяся, как женщина, познавшая удовлетворение, Шанель лежала в постели и пыталась себя убить. Убивала себя.

Разумеется, идиллическое течение этого вечера было нарушено. Я промывала ей желудок, считала таблетки, пыталась вычислить дозу *letalis* для ее ничтожного веса с учетом того, что она принимала морфин и раньше. Мать укусила меня, когда я вызывала у нее рвоту, шевеля пальцами у нее в глотке. Она отказывалась пить мыльную воду, но я была физически сильнее и влила в нее хорошую, добрую порцию. У нее были слишком черные глаза, чтобы я могла рассмотреть характерное сужение зрачков, но прощалась с содержимым желудка она довольно бойко – хороший знак! Я вопила, призывая прислугу, пока мать не сказала мне в перерывах между спазмами, что она всех отпустила. Тогда я сама побежала в аптеку, купила кислородную подушку, кое-каких недостающих лекарств и запасной шприц для инъекций. Испытав короткое мстительное чувство, купила английской соли. Вряд ли яд дошел до кишечника, но не должна ли я перестраховаться? Я ей, может быть, даже кровь отворю, если понадобится!

Не понадобилось. Обессиленная, покрасневшая, с лопнувшими сосудиками в глазах, в испачканной пижаме, с грязными, слипшимися волосами, она сидела на полу, привалившись спиной к кровати, и явно была вне опасности. Все же я заставила ее принять порошки. А потом села напротив и спросила:

– Зачем ты хотела сделать это?

Она молчала, глядя на меня с грустью.

Потом сказала:

– Я так устала. Так одинока. Так несчастна.

– Ты? – удивилась я. – У тебя столько друзей! Ты молода, знаменита, богата, любима.

Чего ж тебе еще?

– Друзья? Нет, это просто люди нашего круга. Молодость? Ты знаешь, сколько мне лет. Известность, слава? Она ничего не стоит. Богатство? Деньги не приносят счастья, я узнала это слишком хорошо. Любовь? Но кто любит меня, Катрин? Мои родные умерли. Любовники уходят от меня к женам. Единственный мужчина, любивший меня, сначала женился, потом погиб. И, наконец, ты оставила меня.

У меня просто голова шла кругом. Она сделала это из-за меня! Моя мать пыталась отравиться, потому что, как ей казалось, я ее не люблю!

– Ты с ума меня сведешь, – пробормотала я. – Почему ты не написала мне? У тебя же был адрес? Если я была так нужна тебе, почему ты не попросила меня вернуться?

Она изогнула бровь, и в эту минуту стала прежней Шанель – гордой, надменной, ни у кого не просящей пощады.

– Зачем? Мне нужна не милостыня. Мне нужна любовь. А любовь не дается по просьбе. Ее даже купить нельзя, хотя с этой мыслью мне было в свое время нелегко смириться! Видимо, есть во мне что-то, что не позволяет меня любить. По-настоящему, просто и ясно. Любая мать семейства одарена этим, а я – я нет! По вечерам, гуляя с женой, почтенный рантье обхватывает ее пониже талии, чтобы никто не смел покуситься на его сокровище, – меня никто так не обнимал. Дети цепляются за ее передник, подросток приходит поделиться своими радостями и бедами – я лишена всего этого! И как жить с этим? Не спорю, это была минута слабости. Но ведь и у меня могут быть слабости!

Она сказала это с таким отчаянием, словно я когда-то отказывала ей в праве иметь слабости! Я рванулась к ней, обняла. Мы давно не сидели так близко – с момента смерти Боя, когда я приехала и застала ее, разбитую, отчаявшуюся, в слезах. Но даже тогда она не пыталась покончить с собой. Неужели я так дорога ей?

– Мама, мама, – шептала я, забыв о своей привычке называть ее по имени, позволив себе отпустить всю нежность, переполняющую мою душу. Я, как маленькую, укачивала ее у себя на груди. От ее спутанных волос пахло кисло, она всхлипывала, вцепившись в мой джемпер, и мне казалось, что сердце мое тает и мучительно разливается в груди. – Ты же сама не давала мне любить себя, ты была такой отстраненной, такой замкнутой, насмешливой, равнодушной...

Не уверена, что Шанель слышала меня – я говорила тихо, а она рыдала самозабвенно. И все же многое изменилось для меня в тот вечер. Я впервые поняла, что даже человек, неспособный любить, может нуждаться в любви, как в воздухе. Я поняла, что моя мать – не бесчувственная эгоистка, манипулирующая людьми ради своего удовольствия и удобства. Я узнала, что она – всего лишь женщина, такая же слабая, как и я – а может быть, даже слабее!

И тогда я дала себе обещание никогда не оставлять ее. Никогда. О, она вряд ли изменится даже после этого происшествия. Скорее всего, она всю нашу жизнь будет пренебрегать моими чувствами, предоставлять мне решать мои проблемы самостоятельно, оставлять меня ради мужчины – ради любого мужчины, которым заинтересуется, или ради своего дела, важнее которого для нее вообще ничего нет. И все же я буду с ней, не отрекусь от нее.

Это было самым трудным решением в моей жизни. Я не раз пожалела о нем. Но никогда не чувствовала себя вправе уклониться от принятых на себя обязательств.

Маятник должен был качнуться в другую сторону. Жизнь устроена так, что после дождя всегда ярче сияет солнце, за черной полосой неизменно следует белая, а за горем – радость. Следующие за кризисом годы для нас были необыкновенно удачны, хотя их никак

нельзя было назвать благополучными для страны. После войны франк, курс которого был неизменен, как верная жена, залихорадило: в январе 1923 года за один доллар давали пятнадцать франков, через год – двадцать, в марте 1924 года – уже двадцать девять; британский фунт, стоивший в январе 1924 года девяносто семь франков, в марте тянул уже на сто двадцать три. Франция тратила деньги, которых так и не получила, – военные репарации Германии. Правительство решило позаботиться о своих подданных очень необычным образом: заставить платить богатых за вечеринку, на которую приглашены были все. Попытка обложить налогом крупные состояния кончилась тем, что капиталы стали утекать за рубеж, а простые люди перестали покупать облигации госзайма. Когда фунт стал стоить двести пятьдесят франков, наступила настоящая паника.

Бастовали металлисты, текстильщики, горняки, сельскохозяйственные рабочие, железнодорожники. Вслед за забастовками шли увольнения. На парижских мостах, традиционных местах найма рабочей силы, толпились мрачные мужчины, поплевывали в воду. И в то же время экономика страны развивалась, расширялись колонии, рос мировой авторитет, наращивали темпы машиностроение, автомобильная и химическая промышленность, процветала медицина, что имело ко мне прямое отношение, и искусства – что уже относилось к Шанель. Париж стал транспортным узловым пунктом, промышленным и торговым центром. Население столицы возросло до пяти миллионов человек. Всю эту кипящую человеческую массу нужно было кормить, лечить, развлекать.

Снова открыл свои двери «Мулен-Руж». В Париже опять начали снимать кино. У дверей синематографических фирм толпились начинающие звездочки – все как одна в туалетах от Шанель, пусть даже и не в оригинальных, а в повторенных. Делали это так: в складчину девушки покупали одно платье на всех, снимали выкройку и шили по ней себе новые наряды. Шанель ничего не стоило отличить свое творение от кустарного, и она временами сердилась:

– Заузили проймы, спинка морщит... Ведь могут подумать, что это я выжила из ума и нашла такое! Необходимо выпустить копии на конвейер – они хотя бы будут аккуратно сшиты!

Впрочем, скоро ей стало не до подделок. В театре Монмартра поставили «Антигону», весьма приблизительное переложение Софокла, сделанное Кокто. Сюжет Софокла, переработка Кокто, декорации Пикассо, чьего имени не хватало на афишах? Браво. Именно Шанель делала костюмы. Кокто видел ее последнюю коллекцию с античными мотивами, он был уверен, что именно Шанель, величайший из модельеров нашего века, сможет придать достойное обрамление его спектаклю!

И она, конечно, смогла. Греческая актриса Женика играла Антигону, и только Шанель могло прийти в голову не надевать на нее воздушно-соблазнительный наряд, как всегда было принято в театральном мире. Это, вероятно, чтобы даже зрители, равнодушные к драматическому искусству, получили свою порцию впечатлений – пусть и самых низменных! В грубом шерстяном плаще цвета охры вышла к зрителям Антигона, изысканно-худая, с наголо выбритой головой, чистым лицом, огромными черными глазами в обрамлении капюшона широкого плаща. На огромную львиную голову великого Дюлле, игравшего царя Креона, Шанель возложила тяжелый венец с огромными искусственными рубинами. Ярко сверкающие в лучах софитов фальшивые камни подчеркивали тяжелый взгляд царя, его темное, недоброе лицо. Когда поднялся занавес, у меня захватило дух. Как мог Пикассо создать с помощью полотна и краски это синее небо над морем! Как можно из всякого хлама – из тряпок, ниток, блесков, из собственных душевных движений, из сотен выкуренных папирос и опустошенных рюмок – сложить нечто настолько цельное, прекрасное! Никогда мне не постичь этого!

Мать сидела на премьере с торжествующим, сияющим лицом, на ней было чудесное платье, все смотрели только на нее. Я даже не испытывала ревности. Я была счастлива ее отраженным счастьем, я радовалась, что она забыла своих любовников, свои обиды, выбросила склянки с морфином и увлечена работой.

У меня были экзамены, я не выходила из библиотеки и яростно зубрила. Шанель ворвалась ко мне, словно весенний ветер, стремительная, крепко надушенная, веселая.

– Смотри, – сказала она и вытянула из груди корреспонденции «Вог» с уже заложеной страницей: «Эти платья из шерсти натуральных тонов создают впечатление античных одежд, обретенных спустя века...» А дальше так: «Это блестящее воспроизведение древности, в котором заметно озарение ума». Понимаешь ты, что это значит, мой маленький синий чулок?

– Честно говоря, нет, – призналась я и украдкой потянула на себя свежий номер «Вестника неврологии» в грязно-желтой обложке – он был не так наряден, как «Вог», зато мог мне очень помочь.

– Это же принципиально другой уровень! Я больше не портняжка, я стою наравне с режиссерами, художниками, поэтами! Я – как они, а может быть даже и лучше, потому что у меня есть деньги, а у них, как правило, нет. Ты знаешь, Кокто снова просит меня сделать костюмы.

– Опять античная пьеса?

– О нет! Это нечто совсем другое. Представь себе что-то воздушное, легкое, прелестное, – в общем, в стиле Оффенбаха. Называется «Голубой экспресс». Курортная жизнь, Лазурный Берег – совсем другое, новое, не античная скука.

Я едва сдержала улыбку. Мать совершенно не поняла «Антигоны», прочитав Софокла. Переработка понравилась ей куда больше – там все говорили нормальным французским языком. И все равно «Голубой экспресс» был ей ближе, она лучше знала его героев – спортсменов, певичек, представителей золотой молодежи, обломков аристократии, нуворишей, современных девушек не самого строгого поведения, этаких «холостячек», блестяще описанных Маргеритом в нашумевшем романе, и беглых русских княжон, на дне зрачков которых еще лежал отсвет пожарищ, чьи духи неизменно отзывались горьким пеплом. Она словно вернулась в свое прошлое, в Довилль, где, фланируя по бульварам со своими сестрами, привлекала покупателей в свой бутик... Слушая ее радостный голос, я раскрыла журнал, бегло просмотрела страницы, загнула уголки на двух любопытных статьях. Заинтересовалась фотографией – профессор психиатрии Клод Анри, Сорбонна, с одной из самых многообещающих студенток мадемуазель Боннёр. Мы были сняты возле клумбы, я держалась за руль велосипеда. Я вышла хорошо, хотя, пожалуй, мать права – мне стоило бы иногда подвивать волосы щипцами и не носить этих мальчишеских ботинок со сбитыми носами. Но «одна из самых многообещающих студенток»!

Матери я не сказала ничего, чтобы не множить собственные обиды. Вряд ли она обратила бы должное внимание на мои скромные достижения, ведь я не написала пьесы, не нарисовала картины, и фотография моя была помещена не в «Вог»...

Премьера новой постановки состоялась в театре на Елисейских Полях. На сцену вышли юноши в джерси, в свитерах для поло и гольфа, в твидовых бриджах, девушки в шаловливых купальных костюмах, щедро обнажающих гладкие ноги, и главная героиня – в прелестном белом платье теннисистки, в теннисных тапочках, с кокетливой повязкой. И те же персонажи, только в вечерних платьях, сидели в зале. Баронесса Анри Ротшильд... Княгиня де Полиньяк, в девичестве – Зингер... Аристократия причудливо мешалась с богемой. Я заметила мужеподобную даму, одетую в костюм, разумеется, от Шанель, которая кивала нам с приятной улыбкой.

– Это Жермен Дюлак, она режиссер и театральный критик, – ответила мать на мой вопрос. – Мы видели ее «Мадам Бедэ», «Смерть солнца», и... Она идет к нам. О, мадемуазель

Жермен! Я только что говорила Катрин, как меня поразил ваш последний фильм – «Дьявол в городе», не так ли?

– Благодарю вас. – Дама смотрела на меня таким пронизательным взглядом, что мне стало не по себе. – Катрин – это ваша дочь? Прелестная молодая особа.

У меня зашумело в ушах, и я испугалась, что сейчас потеряю сознание.

– Она моя племянница, – с некоторой запинкой сказала Шанель. Видимо, она уже успела забыть о той лжи, которую мы придумали когда-то. – Дочь моей покойной сестры. Неудивительно, что между нами существует некоторое фамильное сходство.

Жермен Дюлак слегка поклонилась, но я видела, что слова матери не ввели ее в заблуждение, а замешательство и моя бледность утвердили ее в знании истины. Разумеется, она режиссер, она снимает кино, ей должны быть понятны малейшие проявления чувства, отразившиеся на лице, она читает человеческие лица, как открытую книгу...

– Ты назначила мне в матери бедную тетюшку Жюли? – язвительно поинтересовалась я, когда Дюлак отошла, обменявшись с матерью любезностями. – Или другую твою сестру? Просто хотелось бы уговориться, чтобы в случае...

– Ты сегодня невыносима, – сказала мать и вдруг замахала в толпу. – А вот и Вера. Вера!

Остатки моего хорошего настроения испарились. Вера Ломбарди, а по-настоящему вовсе не Вера, а Сара, была одной из несносных подруг матери. В некотором смысле она была еще хуже Мисы, потому что Мися, по крайней мере, была проста и наивна, все ее интриги были шиты белыми нитками, а вот Вера была фигура загадочная. Происхождения она была самого смутного. Слухи связывали ее с королевской фамилией, ведь недаром она была на дружеской ноге с герцогом Вестминстерским, принцем Уэльским, ее умом якобы восхищался Уинстон Черчилль... Впрочем, Шанель сказала мне по секрету, что отец Веры, господин Аркрайт, по профессии был каменщиком. Что ж, это доказывает возможности честолюбивой натуры в современном обществе. Дочь каменщика была блестяще образованна, считалась звездой сцены, умела элегантно носить наряды и небрежно льстить светским знакомым, а что еще нужно было? Шанель считала ее очень деловой и способной, пригласила ее занять должность директора в парижском филиале – но со временем выяснилось, что мадам Ломбарди не очень годится для этой должности. Вера была, несомненно, умна, но работать не любила, а любила путешествовать, танцевать, просыпаться к вечеру и завтракать устрицами. Но Шанель все же не отпустила ее от себя.

– Она идеальная реклама дома Шанель в Лондоне.

По мне, так даже самая идеальная реклама не может обходиться так дорого. Но разве я имела право делать замечания матери? То были ее деньги, она заработала их своим трудом, и ее коммерческие ходы всегда были удачны. Мне пришлось ограничиться глухой ненавистью в адрес Веры, которая всегда улыбалась мне равнодушно и ослепительно.

– Ты так много работаешь, Габриэль, – сказала она после всех положенных любезностей. – Не хочешь проветриться куда-нибудь? Может быть в Монте-Карло?

– Монте-Карло прекрасно, – согласилась Шанель. – Возьмем с собой Катрин, и Дмитрия, и...

– О нет, вам придется обойтись без моей компании, – запротестовала я. – Ты прекрасно знаешь – мне нужно сдавать экзамены. Поезжайте без меня. Не сомневаюсь, вам будет очень весело.

Я даже не подозревала, *насколько* была права.

Глава 5

Летом 1924 года я практиковалась в психиатрической больнице Святой Анны. Я не сказала матери о том, где буду работать, будучи уверена, что она придет в ужас. Шанель до смешного боялась душевных болезней, мысль о том, что можно не владеть своим разумом, казалась ей невыносимой. Мне же нравилась больница Святой Анны, нравился белый и синий кафель, чистота, олимпийское спокойствие персонала. Сама себе я тоже нравилась в белом фартуке. Я казалась себе очень собранной, взрослой и деловой.

Стоит заметить, что в то время в психиатрической науке царил поистине золотой век. Наукой были рассмотрены и отброшены, как негодные, старинные способы лечения и содержания душевнобольных. На протяжении сотен лет в обращении с душевнобольными обычны были связывание и содержание на цепи, побои, попытки «лечения» голодом, холодом и страхом. Один английский врач писал, что «для излечения безумных нет ничего более действенного и необходимого, чем их благоговение перед теми, кого они считают своими мучителями. Буйные помешанные быстрее излечиваются в тесных помещениях, посредством наказаний и грубого обращения, чем с помощью лекарств и врачебного искусства. Их пища должна быть скудной и малопривлекательной, одежда легкой, постель твердой, а обращение с ними жестким и строгим». Этаким добряк! В девятнадцатом веке эти добряки завели в Бедламе такое веселье, что пришлось англичанам собирать специальную комиссию по инспектированию подобных заведений, и комиссия с неудовольствием убедилась, что советы доктора воплощаются в жизнь даже с излишним рвением. В некоторых лечебницах пациенты на ночь загонялись в чуланы, где не было возможности справиться нужду. В палатах было грязно и сыро, в ход шли наручники, впивавшиеся в плоть пациента до кости, кое-где душевнобольных приковывали к койкам на все выходные, пока персонал получал свой заслуженный отдых. Но хуже всего дела обстояли в Германии. Сентиментальные немцы измыслили для своих безумцев способы излечения, которым позавидовала бы инквизиция. Их били палками, крутили на вращающейся кровати, применяли жгучие втирания, прижигание каленым железом, их закармливали рвотным и просто завязывали в мешок. Не дай бог сойти там с ума! Да что там говорить – даже во Франции, в моей прекрасной стране, в вечном городе Париже душевнобольной, о котором не могли или не хотели заботиться его близкие, попал сначала в печально известный Отель-Дье, где в страшной тесноте и антисанитарии его лечили опиумом и чемерицей, взбадривали ледяными ваннами, или, напротив, успокаивали едва не до смерти кровопусканием и слабительными. Если полууморенный такими средствами человек все еще представлялся эскулапам нездоровым, его отправляли, в зависимости от половой принадлежности, в Бисетр или Сальпетриер, откуда уже никто не выходил, даже если милостью божьей излечивался. Больные жили – если это можно назвать жизнью – в каменных карцерах, лишённые дневного света и свежего воздуха. Женщины, попавшие в Сальпетриер, отдавались на добрую волю сторожей, а сторожей всегда набирали из бывших арестантов. Совершенно голые, забывшие о том, что такое вода, мыло и ножницы, потерявшие человеческий облик, несчастные сидели на цепях в подвалах, где кишели крысы, где во время наводнений вода поднималась до уровня колен. История сохранила знаменитое описание Бисетра и Сальпетриера герцога Ларошфуко-Лианкура: «Посмотрим на заведения Бисетр и Сальпетриер, – мы увидим там тысячи жертв в общем гнезде всяческого разврата, страданий и смерти. Вот несчастные, лишённые рассудка, в одной куче с эпилептиками и преступниками, а там, по приказу сторожа, заключённых, которых он пожелает наказать, сажают в конуры, где даже люди самого маленького роста принуждены сидеть скорчившись; закованными и обременёнными цепями, их бросают в подземные и тесные казематы, куда воздух и свет доходят только через дыры, пробитые зигзагообразно и вкось в толстых камен-

ных стенах. Сюда, по приказу заведующего, сажают и мужчин, и женщин и забывают их тут на несколько месяцев, иногда и на несколько лет... Я знаю некоторых, прошедших таким образом по 12—15 лет».

Я видела эти казематы, и видела юношу, упавшего в обморок при виде их. Но в то время больница Сальпетриер уже выглядела совершенно иначе, как и Бисетр. Ее преобразование началось с доктора Пинеля, который – благослови его Господь! – совершил настоящую гуманную революцию, сняв с больных цепи. Все полагали, что без цепей сумасшедшие начнут кусаться, бесноваться, вредить себе и друг другу, но все оказалось совсем наоборот. Кроме того, выяснилось, что поставить диагноз больному и даже излечить его совершенно – вполне возможно, если не стеснять его свободу, если над ним не будет тяготеть страх физического наказания. В Сальпетриере читал лекции и практиковал великий Шарко, под его руководством учился там великий Зигмунд Фрейд, а еще Поль Рише, Александр Бине, Мартен Жане. Повторюсь, это был золотой век психиатрии. Американские психиатры, своеобразность методов которых повергает меня в шок, еще не предложили человечеству ни инсулино-шоковой терапии, ни лоботомии. Еще не была изобретена электрошоковая терапия, причиняющая пациентам дикие мучения и заканчивающаяся полной гибелью личности.

Еще не придумали нейролептиков. Больных лечили гипнозом, широко применяли психоанализ, очень важными считались физиопроцедуры, режим питания, движение на свежем воздухе. Острые состояния купировали препараты растительного происхождения, бромиды, внутривенное введение кальция и наркотический сон. Мне доставляло радость видеть, как приходит в себя издерганная, измученная истерией женщина; как успокаивается солдат, для которого все еще продолжается кровопролитная война; как алкоголик, недавно в обитой войлоком палате ловивший чертей и крыс, выписывается нормальным человеком и со слезами на глазах благодарит доктора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.